

1

“ Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему.

Но отвечай глупому по глупости его, чтоб он не стал мудрецом в глазах своих.

Притчи 26, 4-5

За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.

Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25-26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека – я имею в виду мужчину, – который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:

– Italiano? [4]

– No, Ingles. Y tu?[5] – ответил я на своем ломаном испанском.

– Italiano.

Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку, у меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видаться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.

Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны – красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.

Было это в конце декабря 1936 года, то есть менее семи месяцев назад, но время это кажется ушедшим в далекое, далекое прошлое. Позднейшие события вытравили его из памяти более основательно, чем 1935 или даже 1905 год. Я приехал в Испанию с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были наклеены серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», – все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «Buenos días» говорили «Salud!» [6]

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок – заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками – красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города – Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К «прилично одетым» можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, – почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Много из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли

на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались – предосторожность на случай воздушного налета, – полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд. Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же – была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры – больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англо-саксонских стран казалась умильной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались – по несколько центавос[7] штука – наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были – «секция» (примерно тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «колонна», которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время шольских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещение еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные футбольные матчи – пятьдесят на пятьдесят – на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не

пускали, ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем, таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос – побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба – вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами – доски на козлах, – из сальных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки – поррона. Поррон – это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать «формой» в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие – обмотки, третьи – высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров Р.О.У.М.[8], вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз пробегает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы – в большинстве своем шестнадцати-семнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, – совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном

равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его «сеньором». «Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи? «Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего не-сколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, – как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном Р.О.У.М. положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходившие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменяли. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.

Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади Plaza de Espana. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал канючить:

– Но се манехар фузиль. Но се манехар аметраллотора. Киеро апрендер аметраллотора. Куандо вавос апрендер аметраллотора? [9]

В ответ он всегда смущенно улыбался и обещал начать обучать стрельбе из пулемета «маньяна». Нечего и говорить, что это «завтра «никогда не наступило. Прошло несколько дней и новобранцы научились ходить в строю и неплохо вытягиваться по команде «смирно».

Кроме того, они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но на том и кончались все их военные познания. Однажды, во время перерыва в занятиях, к нам подошел вооруженный карабинер и позволил посмотреть свою винтовку. Оказалось, что из всего моего взвода, кроме меня, никто не умел даже зарядить винтовку, не говоря уж об умении целиться.

Все это время я продолжал единоборство с испанским языком. В казармах кроме меня был только еще один англичанин, даже офицеры не знали ни слова по-французски. Мое положение затруднялось еще и тем, что между собой мои товарищи говорили по-каталонски. Мне не оставалось ничего другого, как всюду таскать с собой словарь, который я всякий раз выхватывал из кармана в критический момент. Но если уж быть иностранцем, то только в Испании! Как легко приобретаются здесь друзья! Не прошло и двух дней, как человек двадцать ополченцев звали меня по имени, помогали узнать все местные ходы и выходы, проявляли чудеса гостеприимства. Я не пишу пропагандистской книжки и не собираюсь идеализировать ополченцев R.O.U.M. Вся эта система имеет серьезные недостатки, да и публика была разношерстная, ибо к тому времени запись добровольцев сократилась, а большинство лучших людей уже было на фронте или даже погибло. Был в наших рядах и абсолютно бесполезный элемент. Родители приводили записывать пятнадцатилетних ребят, не скрывая, что делают они это ради десяти лезет в день – нашего дневного жалования, а также ради хлеба, который ополченцы получали вволю и могли тайком передавать родителям. Но я убежден, что каждый, кто попадет в среду испанских рабочих (следует, пожалуй, сказать – каталонских рабочих, ибо среди моих знакомых, кроме нескольких арагонцев и андалузцев, были только каталонцы) будет поражен их внутренним благородством, и прежде всего – их прямоотой и щедростью. Испанская щедрость, щедрость в полном смысле этого слова, по временам даже способна смутить. Если вы попросите сигарету, испанец будет настаивать, чтобы вы взяли у него всю пачку. Но кроме того, есть в них щедрость в более глубоком смысле, подлинная широта души: с которой я встречался не раз и не два в наиболее трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и других иностранцев, ездивших по Испании во время войны, заявлял, что в глубине души испанцы горько сетуют на иностранную помощь. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне ничего подобного наблюдать не приходилось. Я помню, что за несколько дней до того, как я покинул казармы, с фронта в отпуск прибыла группа бойцов. Они возбужденно делились своими фронтовыми впечатлениями и с энтузиазмом рассказывали о какой-то французской части, которая стояла рядом с ними под Уэской. Французы дрались храбро, – говорили они, добавляя с воодушевлением: «Мае валентес ке нострос», «Смелее нас! «Я, конечно, возражал, но они мне разъяснили, что французы лучше их знали военное дело, лучше бросали гранаты, стреляли из пулемета и т. д. Этот эпизод очень характерен. Англичан скорее дал бы себе руку отрезать, чем сказал бы что-либо подобное.

Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в отчаяние от некоторых черт их характера. На фронте это отчаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы многое делают хорошо, но война – это не для них. Все иностранцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде всего, – от их чудовищной не-пунктуальности. Есть испанское слово, которое знает – хочет он этого или нет – каждый иностранец: «тапапа», «завтра» (буквально – «утро»). При малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с сегодняшнего дня на

«маньяна». Это факт такой печальной известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испании ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не происходит в назначенное время. Как правило все опаздывает; но время от времени, как будто специально для того, чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некоторые события происходят раньше назначенного срока. Поезд, который должен уйти в восемь, обычно уходит в девять-десять, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхищаюсь испанцами за пренебрежение временем, превратившимся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим неврозом.

После множества слухов, тапанас и отсрочек, мы внезапно получили приказ двинуться в сторону фронта через два часа, хотя нам еще не успели выдать всего нужного снаряжения. В результате некоторым бойцам пришлось отправиться в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлынули неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые принялись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать рюкзаки. Как это ни унижительно, но мой новый кожаный патронташ помогла мне приладить испанка, жена Вильямса, еще одного англичанина-ополченца. Это было неясное, темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее единственное предназначение – качать детей в колыбели, но она храбро дралась во время июльских уличных боев. В казармы она пришла с ребенком, родившимся через десять месяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, запарившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение, полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных накрест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов, топанье ботинок и позвякивание жестяных флагов, а потом громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец, возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем вели нас самым длинным путем, километров пять или шесть, чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько минут остановили, чтобы выслушать революционный марш, исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфаторов – крики и энтузиазм, красные и красно-черные флаги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины, машущие из окон домов. Каким естественным все это казалось тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня! В поезд набилось так много народу, что не было места даже на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю минуту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставляя позади Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с обычной для военного времени скоростью – около двадцати километров в час.

Версия #2

Зверобой создал 5 мая 2025 21:39:01

Зверобой обновил 5 мая 2025 21:41:34